

ШКОЛА «ПРАВДЫ»

Ник. ПОГОДИН

Постоянным сотрудником «Правды» я сделался в двадцать первом году... Мне вдруг захотелось сказать: «В двадцать первом году прошлого столетия», так гигантски необъемлемо это сорокалетие. Тот день, когда я получил от Марии Ильиничны Ульяновой телеграмму с предложением быть постоянным корреспондентом «Правды», тот счастливый день вижу сейчас во всех подробностях, точно это случилось вчера. Ошеломляла, если хотите, отрывала от земли самая подпись...

Неповторимое, единственное в жизни чувство это было оттого, что подписала телеграмму мне сестра Ленина. И вот теперь, через много лет, составляющих гигантски необъемлемую эпоху, я удивительно точно, до живого ощущения помню мое отношение к Ленину. И все, кому я показывал телеграмму, с изумлением говорили:

— Ты смотри... Ульянов!

Мы в провинции и не знали о том, что Мария Ильинична является ответственным секретарем «Правды». А в Москве, когда я сюда приехал, все это знали и называли ее Марией Ильиничной, и никак не иначе, как Ленина подавляющее большинство страны называло Ильичем, и никак не иначе.

Во время первой встречи Мария Ильинична сказала как-то приветливые слова, мягко, тихо, глянула на меня внимательно, и я увидел искорки смеха или смешливости в ее глазах, точно снятых с портретов Ленина. Я был мрачного вида парень с на-

Полностью воспоминания Н. Ф. Погодина публикуются в книге «Ленинское «Правда» — 50 лет», выпускаемой в свет редакцией газеты «Правда».

висшими бровями из-за своей близорукости, с устрашающе густыми волосами. Робость, смущение, радость делали меня совсем диким...

И вот я перекочевал в «Правду» на должность разъездного корреспондента (теперь их называют спецкорями). Еще не получивши жилья, я поехал в Чувашию на судебный процесс. Там кулачье и торговцы избili сельского корреспондента, вырезали у него на голове звезду за то, что он подписывался псевдонимом «Красная звездочка».

Дух и стиль редакции, видимо, сохраняли традиции старой «Правды» или даже «Искры», и это выражалось в том, что газету делала редакция, то есть коллектив, самостоятельно, творчески, без чрезмерного вмешательства руководства в каждую строку, которое потом появилось в тридцатые годы, когда газета была круто подчинена культуре личности. Это отнюдь не значит, что газета велась как-то сама по себе. О, нет! Мария Ильинична была душой редакции, но душой, а не самовластным руководителем, точнее, начальником, который один все знает и все понимает. Нам доверяли. И мы дорожили своей ответственностью.

И вот теперь я вижу Марию Ильиничну пробегающей по длинному нашему коридору обычно с рукописью в руках. Она любила забегать в отдел и в отделе вместе со всеми сотрудниками разобрататься в материале, а то и распушить нашего брата, в особенности за небрежности, неграмотность — словом, за плохое качество работы.

Сейчас много говорят о ленинских нормах в работе и

поведении. Мария Ильинична Ульянова в редакционной жизни была образцом этих норм.

Потом, уже в конце двадцатых годов, я как-то днем зашел в кабинет к ней и увидел, что она плачет. Я попытлся и хотел выйти, Мария Ильинична жестом остановила меня.

— Что с вами, Мария Ильинична? — в смятении спросил я.

— Так... — она помолчала и попробовала усмехнуться. — Я разговаривала с одним человеком...

С кем — я отлично понимал. Мы в редакции тихо говорили, что Сталин скоро уберет из редакции нашего ответственного секретаря. Он это и сделал. В «Правду» пришел Мехлис.

Но вернемся к более счастливым временам.

Однажды Мария Ильинична поймала меня в коридоре. Именно поймала, так как я старался не попадаться ей на глаза: непременно пошлет куда-нибудь к черту на кулички и еще потому, что станет спрашивать, почему я такой мрачный. Так оно и случилось при этой встрече.

— Слушайте, Погодин, почему вы такой мрачный?

— Я не мрачный... У меня такое выражение лица.

— Нет, вы ужасно мрачный. У вас на лице написана мировая скорбь.

— У меня плохое зрение. Я сдвигаю брови.

— Брови тут ни при чем. Вы очень мрачный. — И прямо без перехода: — Вам надо поехать в Баку к Серебровскому. Мне сказали, что он делает чудеса, а мы с вами ничего об этом не знаем.

Никаких приказов тогда не писалось, но на другой день я уже ехал в Баку. Дисципли-

нированность, исполнительность, точность в работе каким-то естественным образом составляли сущность нашего служебного поведения.

До этой поездки я с большой индустрией сталкивался не часто, да и не было тогда большой индустрии. Писал я больше о деревне. А там что! «Под колесами телеги вьется дорога», «Небо голубело», «Старик Никанорыч, ласково улыбаясь, сказал...». Словом, набор газетных штампов, которыми мы тогда грешили в дурном подражании Глебу Успенскому. И вот я попадаю в молчаливый мир новых нефтяных промыслов, где без людей медленно показываются коромысла глубоких насосов, и легкомысленно надеюсь описать промышленную революцию старыми, нехитрыми способами «небо голубело». Оно и действительно голубело, это прекрасное восточное небо. Но и все. И когда, поездивши по промыслам дня три, я счел, что набрался впечатлений, и сел писать, то с ужасом увидел, что писать мне не о чем. К тому же и с языком в те времена у азербайджанцев было трудно, и существенных вопросов у меня к ним не находилось. Я принимался несколько раз писать корреспонденцию и видел, что получается одна вода.

Грустно. Точнее, мне сделалось страшно: Напишу плохо. Не напечатают. Пошлют другого... Перспектива печальная. Страхнула прежде всего встреча с Марией Ильиничной, которая послала меня в Баку. Мне она не запишет выговора, который и записать-то некуда, не вынесет этот случай на летучку, которых тогда тоже не было. Просто она скажет с явным упреком: «Что ж это вы... Плохо. Вы подумайте, как это случилось». И непременно спросит, нет ли каких-нибудь особенных причин, от-

ражающихся на работе. И устрасал этот, по сути дела, дружеский разговор...

А у меня на бумаге была вода, на душе — тоска, и работать не хотелось, потому что стояла страшная бакинская жара и манило море, как оно может манить, когда тебе двадцать пять лет. И все же, несмотря на растерянность, я нашел выход, потому что бесконечно дорожил работой в «Правде», любил нашу редакцию, высоко ставил свои обязанности. Я пошел к главному инженеру «Азнефти» (тогда бакинские промыслы управлялись одним трестом) и сказал ему, что я хочу знать «все про нефть». Он меня понял и дал мне список книг от элементарного очерка по теории происхождения нефти до способов современного бурения. Ровно неделю с утра до вечера я читал эти книги с карандашом в руках. Поначалу я читал с механическим безразличием и не заметил, как меня повела за собой гигантская техническая тема завоевания человеческого недр земли. К концу недели я прочитал штук десять книг по нефти и пусть дилетантски, но зато в подробностях знал нефтяное дело.

Я снова поехал по тем же промыслам, где был вначале, но теперь на все смотрел иными глазами и с восхищением понимал, какую революцию здесь провел инженер коммунист Серебровский вместе с бакинцами, среди которых было уже много специалистов-азербайджанцев. Они вывели «Азнефть» на мировое по значению место. И тогда я написал очерк, по-настоящему газетный, короткий, на один подвал, в котором сумел сказать интересно и красочно все, что надо. Этим очерком я всегда гордился и отношу этот момент к типичной школе «Правды» двадцатых годов.

Школа эта требовала правдивости и точности по самим фактам и литературной отделки, чтобы читатель не ждал твою писанину, а читал.

политически безграмотному человеку в «Правде» нечего было бы делать, но политическая направленность должна была составлять внутреннюю сущность наших корреспонденций, а не внешнюю, чисто словесную.

Меня много гоняла редакция. Долго скитался я по Южному Уралу, и по воспоминаниям о заводских встречах в Златоусте потом была написана пьеса «Поэма о топоре». Долго жил в Иванове, писал о том, как возникла на Окедцине первая в стране машинно-тракторная станция. Помню чистое поле на берегу Волги под городом, который тогда назывался Царицыном, где теперь стоит легендарный Тракторный. Поле это на моих глазах размерялось и в невиданных в России темпах преобразалось в площадь промышленного строительства. В «Правде» тогда был напечатан небольшой очерк «Темп». А через год в театре Вахтангова пошла моя первая пьеса «Темп».

И вот еще о школе «Правды». То, что было привито мне в молодости и привито такими руководителями, как М. И. Ульянова, не исчезло до сих пор. Да, конечно, бывали случаи, когда я изменял правдивости, и происходило это в те трудные годы, которые у всех у нас на памяти. В те годы я искренне верил в необходимость писать, отстраняясь от элементарных жизненных конфликтов, как временного сора под ногами, который скоро будет выметен.

Нынче принято говорить, что газета обогащает писателя, приносит большое знание жизни и потому писателю полезно работать в газете. Да, обогащает, но порой обогащает односторонне. Я, написавши до сорока пьес, не могу отделаться от того, что в литературе называется очерковостью. Мне как очеркисту всегда было важно знать, как ведут себя мои герои у станка, в поле, в общественной среде. Но времени углублять-

ся в характер человека, его психологию не хватало. Так я и писал свои вещи для театра, в особенности первые. Зритель с радостью принимал сценической очерки, в новом роде спектакля, каким был вахтанговский спектакль «Темп». В нем была новость сценическая и, что еще важнее, новость самой жизни. Ничего подобного и старая, и новая Россия не знала. Сценическое искусство начинало включать городского зрителя, состоящего в большей мере из передовой интеллигенции, в такие проблемы жизни, о которых эта интеллигенция имела довольно смутное представление. Так, Корней Иванович Чуковский, очень внимательно слушавший мою первую пьесу, которую я читал дома у Лидии Николаевны Сейфуллиной, серьезно и думающе спросил у меня:

— Разве в самом деле пятилетка — такое трудное дело?

Теперь бы сам Корней Иванович назвал подобный вопрос снобизмом и оторванностью от жизни, но тогда пятилетка еще не стучалась в двери наших квартир, а Валентин Катаев и Илья Эрэнбург не написали своих знаменитых романов «Время, вперед!» и «День второй».

Я всегда ярко вижу наши правдинские коридоры с их длинными деревянными диванами из входов, сидя на которых мы точили лясы. С этими коридорами у меня связывается образ Михаила Кольцова, одетого с иголочки, в больших роговых очках, маленького, иронически веселого. Когда он диктовал свой очередной фельетон, то носился из комнат в комнату по двум этажам, точно по неотложным делам. Но никаких дел у него не было. Просто он на ходу лучше умел сочинять фразу за фразой для своих миниатюр. Миниатюры эти в большинстве своем были сатирическими.

«Правда» ввела в газетный обиход сатиру «по адресу», разоблачающую конкретных

носителей зла. В дореволюционной прессе фельетон в таких случаях прибегал к языку Эзопа, т. е. к прозрачным иносказательностям, и только в исключительных случаях, как тогда говорились, «потрясавших обществу», назывались имена.

Что до самой школы «Правды», то школа эта в большой степени определялась ее фельетоном. Видите ли, в чем дело. Написать про жулика, что он жулик, сумеет каждый человек, если он приставлен к газете. Но раскрыть всю мерзость жуличества умеет далеко не каждый. Для этого надо обладать особой газетной искрой моментального и одновременно художественного фотографирования.

Была в той атмосфере редакционной жизни своя неповторимая интимность. Атмосфера «Правды» была иной и отличной от духа и стиля учреждений, что следует, безусловно, поддерживать всегда, искореняя в жизни газеты даже признаки казенщины. Мария Ильинична не только везла воз газеты, но вела наш дом редакции, если можно так выразиться.

Мы каким-то образом знали, что в ее духе, что ей противно. А может быть, знать это было не так уж сложно, потому что Мария Ильинична просто была интеллигентным человеком, в ее духовном облике была чеховская задумчивость, и ничего исключительного или крайнего в своих поступках и взглядах она не проявляла.

...Правдинские коридоры. Часто по ним пробегала неизменно озабоченная Мария Ильинична, и мы, любившие обтирать деревянные диваны, разом умолкали при ее появлении. Конечно, мы не вставали, когда она проходила мимо нас. Она была бы изумлена такой «почестью» и назвала бы ее неуместной выходкой.

Мы ее любили, уважали без почестей. И она знала это.

ПРАВДА
Москва
21 APR 1962